

Жене и другу
Клавдии Михайловне Шишковой
посвящаю

Уж ты, матушка Угрюм-река.
Государыня, мать свирепая.

Из старинной песни

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

На сполье, где город упирался в перелесок, стоял покосившийся одноэтажный дом. На крыше вывеска:

СТОЙ, ЦРУЛНА, СТРЫЖОМ, БРЭИМ ПЕРВЫ ЗОРТ

Хозяин этой цирюльни, горец Ибрагим-Оглы, целыми днями лежал на боку или где-нибудь шлеялся, и только лишь вечером в его мастерскую заглядывал разный люд. Кроме искусства ловко стричь и брить, Ибрагим-Оглы известен пьющему люду городских окраин как человек, у которого в любое время найдешь запас водки. Вечером у Ибрагима клуб: прошившиеся двадцатники — так звали здесь чиновников, — мастеровщина-матушка, какое-нибудь забулдыжное лицо духовного звания, старьевщики, карманники, цыгане; да мало ли какого народу находило отраду под гостеприимным кровом Ибрагима-Оглы. А за последнее время стали захаживать к нему кое-кто из учащихя. Отнюдь не дешевизна водки прельщала их, а любопытный облик хозяйина, этого разбойника, каторжника. Пушкин, Лермонтов, Толстой — впечатления свежи, ярки, сказочные горцы бегут со страниц и манят юные мечты в романтическую даль, в ущелья, под чинары. Ну как тут не зайти к Ибрагиму-Оглы? Ведь это ж сам таинственный дьявол с Кавказских гор. В плечах широк, в талии тонок, и алый бешмет как пламя. А глаза, а хохлатые черные брови: взглянет построже — убьет. Вот черт!

Но посмотрите на его улыбку, какой он добрый, этот Ибрагим. Ухмыльнется, тряхнет плечами, ударит ладонь в ладонь: «Алля-алля-гей!» да как бросится под музыку лезгинку танцевать. Вот тогда вы полюбуйтесь Ибрагимом...

Заглядывал сюда с товарищами и Прохор Громов.

Оркестр давно закончил последний марш, трубы остыли, и турецкий барабан пьет теперь в трактире сиводрал. Сад быстро стал пустеть. Дремучий, вековой, огромный: нередко в его трупобах даже среди бела дня бывали кровавые убийства. Скорее по домам — мрачнел осенний поздний вечер.

Прохор Громов, ученик гимназии, сдвинул на затылок фуражку и тоже направился к выходу.

Вдали гудел отчаянный многоголосый крик, словно гряла на отлете стая грачей. Прохор Громов остановился:

«Драка», — и он припустился на голоса напрямиком, через клумбы цветов и мочажины.

— Бей!

Он треснул по голове бежавшего ему навстречу мальчика. Опытным глазом забияки он быстро окинул поле битвы: на площадке, где обычно играла музыка, шел горячий бой между «семинарами» и «гимназерами». К той и другой стороне приставали мещане, хулиганы, всякий сброд.

— Ура! Ура!

— Гони кутью в болото!

— Ребята!.. Наших бьют!..

Прохор Громов выхватил перочинный нож и марш-марш за удиравшими. В нем все играло диким озорством, захватывало дух. Рядом с ним неслись кулачники, где-то пересвистывались полицейские, трещали трещотки караульных, лаяли псы.

— Полиция! — И все врассыпную. — Лезь по деревьям!..

Но буйный нож Прохора, наметив жертву, уже не мог остановиться. Прохор на бегу полоснул парня ножом. И сразу отрезвел.

— Полиция!.. — с гамом мелькали возле него пролетающие тени. — Айда наутек!

Прохор Громов вскочил на решетку и, разодрав об железо шинель, перепрыгнул.

— Ага! Есть! С ножом, дьяволенок! — сгреб его в охапку полицейский, но он, как налим, выскользнул из рук — и стремглав вдоль улиц.

— Жулик! Имай! Держи!

Но Прохор юркнул в темный проулок, притаился. Закурил. На правой руке кровь.

«А где ж картуз?» — И сердце его сжалось. Новая его фуражка с четкою надписью на козырьке «Прохор Громов», очевидно, попала в руки полицейских. Прохор перестал дышать. Он уже слышит грозный окрик директора гимназии, видит умирающего парня, полицию, тюрьму. «Боже мой! Что ж делать?..»

— К Ибрагиму!

Да, к Ибрагиму-Оглы. Он спасет, он выручит. Ибрагим все может. И Прохор, вздохнув, повеселел.

Он отворил дверь и задержался у порога. В комнате человек пять его товарищей, гимназистов. Ибрагим правил бритву, что-то врал веселое: гимназисты хохотали.

Прохор поманил Ибрагима, вместе с ним вышел в соседнюю комнату, притворил дверь. Чуть не плача, стал рассказывать. Он ходил

взад-вперед, губы его прыгали, руки скручивали и раскручивали кончик ремня. У Ибрагима черные глаза загорались.

— Я за ним... Он от меня... Я выхватил нож...

— Маладэц! Далшэ...

— Я его вгорячах ножом... — упавшим голосом сказал Прохор.

— Цх! Зарэзал?.. — радостно вскричал черкес.

— Нет, ранил...

— Дурак!

— Я его тихонько... перочинным ножичком, маленьким, — оправдывался Прохор.

— Дурак! Кынжал надо... Вот, на!.. — Горец сорвал со стены в богатой оправе кинжал и подал Прохору. — Подарка!

— Да что ты, Ибрагим... — сквозь слезы проговорил Прохор. — Меня исключат... Ты посоветуй... как быть?.. — Он опустил на табурет, сгорбился. — Главное, фуражка... По фуражке узнают...

— Плевать! Товарища-кунака защищал, себя защищал. Рэзать нада! Трусить не нада... Джигит будэш!..

На громкий его голос один за другим входили гимназисты.

— Ружье тьфу! Кынжал — самый друг, самый кунак!.. — крутил горец сверкающим кинжалом. — Ночью Кавказ едем свой сакля. Лес, луна, горы... Вижу — бэлый чалвэк на дороге. Крычу — стоит, еще крычу — стоит, третий раз — стоит... Снимаим винтовка, стрэляим — стоит... Схватила кынжал в зубы, палзем... подпалазим... Размахнулся — раз! Глядим — бабья рубаха на веревке. Цх!

Все засмеялись, но Прохор лишь печально улыбнулся и вздохнул. Ибрагим сел на пол, сложил ноги калачиком, потом вдруг вскочил.

— Ну, не хнычь... Все справим... Идем! Кажы, гдэ?

Прохор пошел за Ибрагимом.

— Стой, — остановился тот. — Дэнги нада, платить нада. Полиций бэгать. Гимназий бэгать... Дырехтур стрычь-брыть дарам... не бойся... Ибрагишка все может.

Он рылся в карманах, лазил в стол, в сундук, вытаскивал оттуда деньги и засовывал их за голенища своих чуваков.

— Айда!

II

Лето дряхлоло. После жаров вдруг дыхнуло холодом. Завыл густой осенний ветер. С севера тащились сизые, в седых лохмах, тучи. Печаль охватила зеленый мир. Тучи ползут и ползут, льют холодным дождем, грозят снегом. Потом упрутся в край небес, остановятся над тайгой и с тоски, что не увидать им полдневных стран, плачут без конца, пока не изойдут слезами.

Займка Громовых что крепость: вся обнесена сплошным бревенчатым частоколом. Верхушки бревен заострены, окованы, как копыя:

лихому человеку не перемахнуть. Ворота грузные, в железных лапах. Вход в них порос травой; они, должно быть, редко отмыкались. Рядом с воротами высокая калитка, чтоб можно было проехать всаднику. В стене прорублены дозорины. Два сторожа смену держат, все кругом видят. А что за высокой стеной — с воли не видеть. Вот если залезть на вершину сосны, что стоит на краю поляны, да раздвинуть ветки, увидишь: в середине бревенчатого четырехугольника красуется просторный, приземистый, под железом дом. Он в прошлом году срублен. А раньше жили вот в том, посеревишем от времени, флигеле, что прячется за домом. А еще раньше, когда дедушка Данило Громов на это место сел, он жил с женой в маленькой хибарке. Ее тоже берегут, не ломают: пусть внуки-правнуки ведают, посматривая на покосившуюся черную избенку с кустом бузины на крыше, с чего начал дед и до каких хором своими руками достукался.

Откуда пришел сюда Данило Прохорыч почти семьдесят пять лет тому назад — никто не знал.

— Какое кому дело?.. Пришел, да и весь сказ... Из берлоги вылез, — говаривал старик.

И верно. Сначала один, как медведь, корежил тайгу, потом сына Петра поднял. Мельницу-мутовку на речке сделали, пушнину у звероловов скупали, копейку берегли.

И чрез черный труд, чрез плутни, живодерство, скупость постепенно перекочевывали из хибарки во флигель, из флигеля в просторный новый дом.

А теперь весь сухой, в позеленевшей бороде, лысый, но с прежним орлиным взглядом древний Данило лежал на кровати, под ситцевым пологом.

Ночь была.

— Петька! — позвал он сына. — Петька! Да встань ты, встань... — и закапляясь, и зашептал молитву.

В соседней комнате скрипнула кровать.

— Бегу, батюшка! — И в одном белье, босиком шагнул к Даниле чернобородый, лохматый Петр.

— Зажги лампадку.

Петр, что-то бормоча, тревожно зажег лампадку: час был неурочный.

— Подь сюда... Умираю...

У Петра сердце ударило в грудь, сладко замерло, быстро забилося: наконец-то родитель в одночасье сделает сына богачом.

— Петя, — старик взял его за руку. — Вот и конец... вот и...

Петр вздохнул и пристально поглядел в орлиные глаза его.

— Ничего, батюшка. Может, еще...

— Нет, сынок... Крышка... — Старик тяжело задыхался: — Ох, дакось воды... Помочи голову. — Он взглянул на колыхавшийся огонек

лампадки и перекрестился: — Прости, Заступница-Богородица... Вот, Петька, ты теперь один останешься. Ну, прости меня, душегуба. Разбойник я... Деньги там... Сосну с развилиной знаешь у Зуева болота?.. Ну, отмерь на закат двадцать два шага, камнище найдешь... От камнища три печатных сажени влево: тут...

Петр затаил дыхание, глаза его жадно заблестели, золотой звяк звягнул в ушах.

— На добрые дела... на упокой души... А то погибель мне будет: там не простится, с вас взыщется, с тебя, с Прошки, со всего кореню нашего... Церковь сделай... Бедным... богаделенку построй какую... Слышишь?

— Слышу, батюшка... Сполюно...

— Перекрестись... Встань на колени... Клянись...

Петр дал клятву. Потом спросил:

— А сколько, батюшка... всего-то?

— Много, Петька... Ох, большой у меня камень на душе... Убивец я... Не одну душу загубил...

— Кого же ты?

— Ну, чего там... Ну... вот опосля скажу. Отходить когда буду... в тот свет... теперича еще, может, оклемаюсь. Буди Марью... Зови Прошку. Да-а... ведь он в науке... Зря... Не надо бы. Зови поиа... Пусть Гараська верхом смахает в Медведево... Стой! стой! Подожди-ка... Ну ладно. Покличь Марью...

Петр плохо понимал, что говорил отец. Перед его глазами стояла сонна, серел покрытый мхом вросший в землю камень, блестели и сладко позванивали червонцы, а дальше... разливным морем бурлила вольная жизнь-улада.

Петр наскоро чмокнул отца в холодный лоб, брезгливо отер губы и тряхнул головой:

— Батюшка, благослови.

— Бог тебя благословит. Иди покличь.

Петр расставил локти, благодарно взглянул на лучистый огонек у образов и радостно зашлепал босыми ногами по крашеному полу.

— Марья, батюшка зовет! Вставай!.. — потрепал по плечу жену. — Ну, шевелись...

— Чего такое? — поднялась та, шурясь на зажженную свечу. — А ты куда это?

— А куда надо... за попом, — бросил Петр, вытаскивая из-под кровати болотные сапоги и суетливо обуваясь. — Черти... Смазать не могли. Как дерево, твердые, не лезут... Дьяволы!

Петр стучал грузными сапогами, отыскивал пиджак. Скорей... Проверить... Он отлично помнит этот камень, много раз отдыхал на нем во время охоты.

«Господи! А вдруг да кто-нибудь нашел?»

Терзаясь неизвестностью: богач он или так себе, ни в тех ни в сех, — он спустился с крыльца во двор и покликнул Шарика. Тот подкатился

к нему серым комом, заюлил возле ног и, обнюхав болотные сапоги, вопросительно взглянул на пустые руки: а где ружье?

— Лука, отогри-ка, — сказал Петр караульному, — с батюшкой чегей-то худо...

— А сам-то куда?

— Да тут недалече, — смутился Петр и нахлобучил шляпу. — Слушай-ка, Лука. Ты шагай-ка, парень, на кухню. Может, от хозяйки наказ какой выйдет. За попом али что. Ежели за попом — Гараську пошли, пусть Каурку заседдает, а под попа — Сивку.

— Плох, говоришь, старик-то?

— Плох.

Белобрысый маленький горбун Лука, жалеючи, почмокал губами, сдернул мокрую шапку и перекрестился.

Петр быстро шагал знакомой тропой, Шарик бежал впереди. Мелкий дождь упорно поливал тайгу. Утоптанная тропинка была скользка. Фонарь светил тускло, и Петр раза два наткнулся лицом на сучья.

Он спустился в глухую балку и перешел вброд шумливый поток. Путь сделался труднее, без тропы. Пробираясь сквозь чащу, Петр чутьем, как волк, отыскивал направление. Он шел через тьму напролом, потрескивая сухим хворостом. Мысль его усиленно работала, весь он был в зыбком угаре. Он то становился выше ростом, шире в плечах: тогда перед ним вставала богатая, еще не изведанная жизнь на виду у всех, чтоб про него гул по земле катился, чтоб трубы трубили, колокола бухали. То вдруг мечты проваливались в яму: вновь делался он маленьким-маленьким, его жизнь замыкалась навеки в бревенчатом частоколе, что опоясал колдовской чертой их таежную заимку.

Петр приподнял фонарь и водил им кругом, соображая, куда идти.

«Ага! Зуево болото. — Он огладил Шарика, пошел напрямиком. — Вот и сосна».

Он отыскал обомшелый, тот самый, камень, отсчитал три сажени влево. Разгреб пласт хвои с перегноем и стал копать.

Шарик посовал носом в пахучую раненую землю, посмотрел на хозяина и тоже принялся скрести передними лапами, откидывая назад большие комья. Петр взял лом и прощупал яму во всех углах. Лом глубоко уходил в грунт. Пусто. Стал копать в другом месте. Пусто. Петра брало нетерпение. Однако он выбился из сил, подошел к камню, сел и закурил трубку. Сердце его ныло, фонарь остался на сосне, вдали, а здесь, у камня, тьма. Петр посмотрел туда: ему показалось, что фонарь покачивается, а ветра нет.

— Шарик! — крикнул он и посвистал.

Кто-то слегка ткнул его повыше пятки. Петр вскочил.

— Ты?

Шарик ластился к нему. Фонарь теперь висел неподвижно, но железная лопата там, в яме, цокает о землю и скрипит. Петра затрясло.

«Черти роют... Закаятый клад...» — подумал он. В яме копошилось серое, седое.

— Шарик! Узы! Узы!

И Петр как сумасшедший бросился к яме. «Надо говорить, надо кричать... А то жуть».

Шершавым голосом твердил вслух, ковыряя землю:

— Ай да дедушка Данило!.. Вот так это отец! Ничего, ладно... Дупегуб... А? Ну и хорошая наша порода! Шарик, как ты полагаешь? А? Дедушка-то, Данило-то? Знаешь, который костей-то тебе после обеда выносил?.. Чудно... А посмотришь — святитель, станови в иконостас... Колай! Чего лежишь... Шарик!

Но пес, вытянув лапы, смиренно лежал и чужими, бесовскими глазами смотрел хозяину в лицо.

— Ну! Ты! — с испугом крикнул на собаку Петр. — Смотри веселей!

Кругом тьма, жуть. Петр все чаще озирался по сторонам. Кто-то окликает его, ухает, посвистывает, кто-то в дерево ударил. Дождь холодными струйками стекал со шляпы за ворот. Петр терял терпение. Лопата на что-то натыкалась, глухо звуча. Петр то и дело подносил фонарь и со злобой видел лишь толстые перевившиеся, как змеи, корни со свежими на них белыми ранами.

— Не здесь.

Он вновь тщательно отмерил три сажени и стал рыть чуть поправее.

В тайных глазах собаки сверкнул огонь. «Батюшки, да ведь это не Шарик... Ведь это сатана!..» По спине мороз.

— Шарик!.. Ты?!

Но тот, торчком поставив уши, шагнул вперед и заворчал на тьму... Послышался чуть внятный крик:

— А-а-ааа...

Собака оцетинилась, подняла нос и, втягивая сырой воздух, осторожно пошла верхним чутьем на смолкший голос.

— Господи Христе... — встревожился Петр. — А ведь это сатана застращивает...

— А-а-ааа, — вновь почудилось из тьмы, и где-то твякнул Шарик.

Петр насторожился, переступил ногами: в сапогах жмыхала вода.

«Запугать хочет...» — Он выгация из-под рубахи крест.

— Ну-ка... С нами Бог! — поплевал на руки, расставил ноги и со всего маху, крякнув, долбанул ломом землю. Звякнул металл. Припрыгнув, Петр ударил немного правее.

— С нами Бог! — Лом вновь стукнулся о металл и соскользнул.

Забыв про холод, Петр сбросил пиджак и в одной рубахе, напрягая сильные мускулы, швырял землю, как мягкий пух.

— А ну! А ну!